

ВЛАДИМИР КРИВОЛАПОВ
Курский государственный университет
Россия

**„ОТЕЦ РУССКОЙ БЮРОКРАТИИ” В РОМАНЕ
М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА**

**“The Father of the Russian Bureaucracy”
in M. Saltykov-Shchedrin's novel “The History of a City”**

The article is devoted to the Russian bureaucracy as presented in the historical and fantastic narration of M. Saltykov-Shchedrin "The History of a City" and the problem of prototypes of the books' protagonist. Depending on real historic figures offered as a prototype of Ugryum-Burcheyev, the meaning of the book, which can be perceived either as a cruel parody or as a warning book, changes decisively.

Keywords: parody, caricature, Arakcheev, associations, Peter I, St. Petersburg, barracks, eugenics

Словечко «бюрократия» появилось в середине XVIII века и было рассчитано на то, чтобы войти в обиход тогдашнего европейца со шлейфом негативных ассоциаций. Пущенное в оборот французом Винсентом де Гурне, оно изначально было исполнено уничижительного смысла: подразумевалось, что чиновники-бюрократы подменяют власть монарха, дискредитируя последнего. Пройдёт не меньше ста пятидесяти лет, прежде чем Макс Вебер введёт слово в научный оборот и попытается изменить отношение и к понятию, и к самому явлению, предложив относиться к бюрократии как системе управления, которая при должной постановке дела может обеспечить максимально эффективную работу системы – будь то производство или государственный механизм.¹ На Западе идеи Вебера усваивались, развивались, а в Советском Союзе официально декларируемое отношение к явлению определялось хрестоматийным признанием Владимира Маяковского: «Я волком бы выгрыз бюрократизм!», хотя при этом нигде в мире бюрократизм не цвёл так пышно, как на родине поэта.

¹ А. Оболонский, *Бюрократия и бюрократизм (К теории вопроса)*, «Государство и право» 1993, № 12, с. 88-90.

Предшественники Маяковского в XIX веке и его старшие современники в начале XX-го ничуть не сомневались в том же самом! Русские литературные классики с гоголевских времен, а скорее и раньше, были твёрдо убеждены, что такого количества чиновников, как в России, нет ни в одной другой стране. Между тем, к началу XX века практически все европейские страны обгоняли Россию по количеству чиновников «на душу населения» – иногда в несколько раз.² Однако именно в русской литературе тема чиновничества выдвинулась в разряд наиболее актуальных, а понятие «бюрократия» стало «традиционным оружием любой российской оппозиции».³ Вряд ли можно усмотреть в этом парадокс: интерес к теме можно объяснить и коррумпированностью чиновничества, и его неэффективностью. Макс Вебер относил русских бюрократов к разряду патримониальных, имперских, представляющих восточную модель⁴ государственного устройства, тогда как в идеале бюрократия должна быть рациональной, обеспечивающей «наиболее рациональную форму осуществления господства». Очевидный парадокс можно усмотреть в другом обстоятельстве: самыми беспощадными обличителями и бюрократических злоупотреблений, и бюрократического способа организации жизни в русской литературе были сами бюрократы, причем зачастую исключительно статусные. Флегматичный, отчасти либеральный, отчасти консервативный Иван Гончаров, дослужившийся до чина действительно статского советника (напомню, чин генеральский, IV класса), не впадая в избыточный пафос, осуждал не только чиновничье мздоимство, но и бюрократическую деятельность как таковую, прежде всего ту, которая, согласно Макс Веберу, безусловно относится к разряду «рациональной». Достаточно вспомнить дядю и племянника Адуевых, растерявших на ступенях карьерной лестницы свой юношеский идеализм... Или Судьбинского, чиновника не только преуспевающего, но и безусловно, честного, хотя вряд ли приходится сомневаться в том, что писатель был вполне солидарен с Обломовым, сокрушавшимся по поводу того, что Судьбинский являет пример искажения жизненной нормы: «...Как мало тут человека-то нужно: ума его, воли, чувства – зачем это?»⁵.

Другой статский генерал отличался от Гончарова неистовостью в своем неприятии общественных пороков, писал, по словам А.Ф. Кони, «слюною бешеной собаки» и обращал остриё своего отравленного пера прежде всего в сторону собратьев по чиновничьей корпорации. Речь

² С. Волков, *На углях великого пожара*, Москва 1990, с. 34-35.

³ А. Левинсон, *Термин «бюрократия» в российских контекстах*, «Вопросы философии» 1994, № 7-8, с. 241.

⁴ *Ibidem*, с. 93.

⁵ И. Гончаров, *Обломов*, в: *Полное собрание сочинений и писем*: В 20 т., Санкт-Петербург 1998, т. 4, с. 25.

о Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине, который уже в первой своей книге создал образ чиновничьего мира, столь же масштабный, сколь и чудовищный. *Губернские очерки* писались с упованием на то, что мир этот волею просвещенного монарха и не без помощи самого писателя будет сокрушен и безвозвратно уйдёт в небытие. Сокрушить не удалось – ни с первой попытки, ни со второй, ни в результате последующих. Похороны «прошлых времен», описанные в финале *Очерков*, растянулись на десятилетия, раздражение писателя Щедрина усугублялось от книги к книге, а служебное рвение чиновника Салтыкова при этом нисколько не ослабевало: служба в министерстве внутренних дел, вице-губернаторство в Рязани и Твери, председательство в казённой палате – пензенской, тульской, рязанской... Казённые палаты в Российской империи являли собой подразделения министерства финансов на местах, осуществляя и контролируя все виды хозяйственно-финансовой деятельности, что само по себе предполагало предельную погруженность в бюрократическую рутину.

В июне 1868 г. молодой статский генерал Салтыков окончательно выходит в отставку, а уже в январе следующего 1869 года начинает публиковать свою «странную и поразительную книгу» (как назвал её И.С. Тургенев)⁶ *Историю одного города*, где русский патримониальный бюрократизм становится не единственным, конечно, но одним из основных объектов уничтожающего обличения. Всё это хорошо известно, просматривается без всякого труда, поэтому уместно перейти к обстоятельствам не столь очевидным. В частности, к тем, что связаны с проблемой прототипов героев, т.е. градоначальников, а конкретно самого главного и одновременно самого страшного из них, к которому сходятся все смысловые линии фантастического повествования, т.е. Угрюм-Бурчееву.

Следует сразу оговориться. Салтыковское повествование – это не галерея исторических карикатур и ни один из его героев не исчерпывается чертами характера и обстоятельствами жизни даже тех прототипов, которые очевидны и бесспорны.

В советском литературоведении не принято было сомневаться в том, что Угрюм-Бурчеев – это Алексей Андреевич Аракчеев, всесильный временщик Александра I, создатель военных поселений, одна из самых мрачных фигур (мнение Ю.М. Лотмана) российской истории. В комментарии Б.М. Эйхенбаума читаем:

Уже современники Щедрина отгадали, что в лице этого ужасного «идиота» Угрюм-Бурчеева Щедрин описал знаменитого временщика Аракчеева (1769–1834), отстраненного Павлом I и заново выдвину-

⁶ И. Тургенев, *История одного города*. Издал М.Е. Салтыков. С. Петербург, 1870, в: *Полное собрание сочинений и писем*. Сочинения, Москва 1982, т. 10, с. 265.

вшегоя при Александре I. Даже внешность Угрюм-Бурчеева точно совпадает с внешностью Аракчеева⁷.

Правда, другие комментаторы отмечали портретное сходство градоначальника с Николаем I и обращали внимание на обстоятельства, совсем уж неожиданно сближающие его с киевским князем Святославом Игоревичем – сближение, скорее комплиментарное, нежели дискредитирующее. Но вернемся к Аракчееву и к тому, что писал Эйхенбаум:

Все дальнейшее описание деятельности Угрюм-Бурчеева представляет собой сатиру на организацию так называемых военных поселений, предпринятую Аракчеевым по требованию Александра I. [...] Эта «нивелиаторская» (то есть уравнительная) идея и осуществлялась Аракчеевым, которому Александр I заявил, что он выложит всю дорогу от Петербурга до Новгорода человеческими трупами, но добьется, чтобы военные поселения были устроены⁸.

Оставим в стороне напраслину, возводимую на Александра I – во времена Эйхенбаума подобные обвинения носили ритуальный и почти обязательный характер, однако отметим при этом, что «отгадать» в Угрюм-Бурчееве Аракчеева было нетрудно – слишком очевидна была отсылка, присутствующая в созвучии имён. Слишком очевидна, чтобы быть правдой! Как представляется, мы имеем дело с «дымовой завесой», призванной скрыть реальный прототип, а в случае чего предоставить возможность писателю оправдаться перед обвинителями. А подобная возможность была насущно необходима, если считаться с особенностями российской исторической мифологии.

Кульминацией преобразовательской деятельности Угрюм-Бурчеева стало разрушение Глухова, который «не отвечал его идеалам» и воспринимался как «беспорядочная куча хижин, нежели город»⁹. Идеалом же бесноватого градоначальника были «ка-за-р-рмы». Разрушение города неожиданно было увязано с церковным календарём: «За неделю до Петрова дня он объявил приказ: всем говеть». Благочестивые обыватели, коих смутила категоричность распоряжения, тем не менее провели предпраздничную неделю в посте и молитве, во время литургии многие причастились, а «затем, проходя от причастия мимо градоначальника, кланялись и поздравляли; но он стоял дерзостно и никому даже не кивнул головой»¹⁰. С чем могли поздравлять обыватели

⁷ Б. Эйхенбаум, *О прозе*, Ленинград 1969, с. 499.

⁸ *Ibidem*, с. 500.

⁹ М. Салтыков-Щедрин, *История одного города*, в: *Собрание сочинений*: В 10 т., Москва 1988, т. 2, с. 453.

¹⁰ *Ibidem*, с. 457.

своего градоначальника, ни имени, ни отчества которого писатель не сообщил? Почти наверняка с днем тезоименитства, позволяя таким образом уяснить читателю, какое же имя носил Угрюм-Бурчеев. И имя это – Пётр. При желании можно предложить другой вариант – Павел, а в качестве аргумента сослаться на маниакальное пристрастие градоначальника к шагистике. Салтыков, видимо, резервировал для себя такую возможность, однако обстоятельств, вызывающих именно петровские ассоциации не в пример больше.

„30-го июня повествует летописец, на другой день празднования памяти святых и славных апостолов Петра и Павла, был сделан первый приступ к сломке города”. Градоначальник, с топором в руке, первый выбежал из своего дома и, как озарённый, бросился на городническое правление¹¹.

Строки исключительно пафосные! Ещё раз, уже без всякого пафоса, Угрюм-Бурчеев будет назван «идиотом с топором в руках»¹². А вот другие пафосные строки, хорошо знакомые русскому читателю: «То академик, то герой,/ То мореплаватель, то плотник/, Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник». Пушкинские *Стансы*, как известно, являли собой политическую декларацию, связанную с воцарением Николая I, а дальнейшая деятельность Угрюм-Бурчеева, связанная с разрушением Глупова и созиданием нового города, названного Непреклонском, действительно изобличали в нем «вечного работника». Топор же, основной плотницкий инструмент, стал его главным «орудием творчества»¹³ и эмблемой градоначальнических разрушений и созиданий.

«Петровские» ассоциации множатся, теснят одна на другую... Глава, посвящённая Угрюм-Бурчееву открывается словами «Он бы ужасен»¹⁴. Три слова составляют предложение и это единственное предложение в абзаце. Четырьмя строками ниже вновь читаем: «Он был ужасен». Нечто очень похожее звучит у поэта: «Выходит Пётр. Его глаза/ Сияют. *Лик его ужасен./* Движенья быстры. Он прекрасен,/ Он весь как божия гроза». Угрюм-Бурчеев курит, причём махорку, и «до того вонючую», что даже солдаты и полицейские краснели, когда запах её доходил до их обоняния. Излишне напоминать, что Пётр, славен, помимо прочего, тем, что легализовал на Руси табак. Махорку он как будто не курил, отдавая предпочтение так называемому «виргинскому» табаку, но за счёт этой недостоверной и одновременно запоминающейся детали Салтыков добивается того, что незначительный для XIX века, не способный

¹¹ *Ibidem*, с. 457.

¹² *Ibidem*, с. 469.

¹³ *Ibidem*, с. 453.

¹⁴ *Ibidem*, с. 442

скорректировать отношение к персонажу, факт табакокурения Угрюм-Бурчеевым гарантированно запоминается.

Ещё до прибытия в Глухов Угрюм-Бурчеев составил в уме план города, который «вознамерился возвести на степень образцового». «Посередине – площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты»¹⁵. Согласно традиционному истолкованию – это и есть военные поселения, хотя уместнее видеть здесь задуманный Петром Санкт-Петербург – регулярный город, отстроенный по масонским лекалам. Не на улицах, а именно в ротах, Семёновского или Измайловского полков, до конца XIX века проживали многие петербуржцы, включая известнейших литераторов.

Запрудив и, как ему показалось, усмирив реку, Угрюм Бурчеев, вдохновляется видом вновь образовавшегося водоема, посчитав, что теперь «у него будет собственное море», а раз так, то будет и флот: во-первых, военный, потом торговый. Комментарии, пожалуй, излишни. Далее, не справившись с рекой, Угрюм Бурчеев ищет для города новое место, а найдя его, произносит единственное слово: «Здесь!» Слово, побуждающее русского читателя продолжить: «Здесь будет город заложен на зло надменному соседу». Пейзаж, открывшийся взору У.Б., если и не воспроизводит тот, что созерцал Петр «на берегу пустынных волн» в *Медном всаднике*, то вполне соответствует петербургской топографии:

Перед глазами его расстилалась совершенно новая низина, на поверхности которой не замечалось ни одного бугорка, ни одной впадины. Куда ни обрати взоры – везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности. Это был тоже бред, но бред точь-в-точь совпадавший с тем бредом, который гнезился в его голове¹⁶.

Сопряжение исключительно неожиданное даже для Салтыкова: равнина, нерукотворённое, богозданное пространство именуется «бредом». Неожиданность получит объяснение, если вспомнить, что Санкт Петербург в течение двухсот лет, от Гоголя до Манделъштама, воспринимался русскими литераторами как города фантастический, а бред и фантастика – это понятия почти смежные.

Петр был отцом русской бюрократии в её законченном виде, который она обрела после утверждения в 1722 году Табели о рангах. Петр задумывал эту систему вполне по-веберовски, как «рациональную форму осуществления господства». Вполне рационален в осуществлении своих «нивелиаторских» планов, рассчитанных на «осчастливливание» людей и Угрюм Бурчеев. Но это вовсе не значит, что он являет карикатуру на

¹⁵ *Ibidem*, с. 449.

¹⁶ *Ibidem*, с. 462.

Петра Первого. Петровские ассоциации, постоянно сопровождающие глуповского градоначальника, это тот материал, который писатель использовал в своих историсофских, антиутопических по сути, построениях. Угрюм-Бурчеева нельзя сводить к карикатуре на русских правителей уже потому, что этот образ в историческом отношении не ретроспективен, а перспективен, т.е. он сориентирован в будущее.

В своей книге Салтыков пародирует множество литературных источников, начиная с *Повести временных лет*, *Слова о Законе и Благодати* и *Слова о полку Игореве*. Рискнём указать ещё один – пушкинские *Стансы* 1826 года. «В надежде славы и добра/ Вперёд гляжу я без боязни», – так начинается хрестоматийный текст. Автор *Истории одного города* смотрел в будущее без особой надежды, не ожидая славы и преисполненный «боязни». Неслучайно, в главе «Подтверждение покаяния» безотрадных прозрений больше, чем ретроспективных отсылок к XVIII веку и временам более отдалённым. Чего стоит пугающее своей пророческой очевидностью упоминание о коммунистах и социалистах,¹⁷ причём двукратное и одной странице. До сих пор помнится, как будоражили в студенческие годы моё неокрепшее диссидентское сознание слова об идиотах, облеченных «властью», о насильственно утверждаемом «идеале человеческого общежития». Бурчеевская практика переименований (Глупова – в Непреклонск) тут же вызывала в памяти подобную практику советских времен, которая обрела маниакальный характер... Сообщение о том, что в период правления Микаладзе «тридцать три философа были рассеяны по лицу земли за то, что нелепым обычаем говорили»,¹⁸ провоцировали воспоминания о философском пароходе, о двухстах философах, высланных из Советской России правителем с другой фамилией, но тоже грузинской... «Тёмная занавесь» за земляным валом, отделяющая Глупов от всего прочего мира, воспринималась как реплика из замечательного фильма Юлиуша Махульского *Секс-миссия*, вышедшего в советский прокат под названием *Новые амазонки* и пользовавшегося исключительной популярностью.

Салтыков оставил нам классическую антиутопию, если угодно, «книгу-предостережение», взывающую против попыток рационального переустройства жизни по заранее заготовленным лекалам. Лекала при этом вовсе не обязательно должны быть марксистскими. Селекционная работа с людьми, о которой помышлял Угрюм-Бурчеев, скорее соответствует нацистской практике: «Он разводил мужей с законными женами и соединял с чужими; он раскассировал детей по семьям, соображаясь с положением каждого семейства»¹⁹. Кстати, в XX веке нечто подобное практиковали не

¹⁷ *Ibidem*, с. 448.

¹⁸ *Ibidem*, с. 467.

¹⁹ *Ibidem*, с. 458.

только в Германии: евгеника, учение о селекции применительно к человеку, пышным цветом цвела и в Европе, и в Северной Америке.

В США и других западных странах были приняты евгенические законы, позволяющие государству в принудительном порядке стерилизовать людей, объявленных «слабоумными», при этом поощряя людей с желательными характеристиками иметь как можно больше детей²⁰.

В социал-демократической Скандинавии евгенические законы действовали до шестидесятых годов прошлого века²¹, т.е. десятилетия спустя после того, как, казалось бы, в полной мере были усвоены уроки Освенцима.

Мировая коммунистическая система пала, нацизм был сокрушен больше 70 лет назад, после Второй мировой войны учёные-евгеники стали нерукопожатными, а сама евгеника стыдливо растворилась в генетике. Не осуществились и упования цитируемого нами Фрэнсиса Фукуямы относительно «конца истории»²². Все стремившиеся «уловить вселенную», чего страстно желал Угрюм-Бурчеев, перекроить жизнь в соответствие со своими «головными» идеями и идеалами, потерпели поражение. Всё как у Салтыкова: откуда ни возьмись налетело иррациональное и необъяснимое ОНО и уничтожило рационалиста и «нивелиатора», «словно он растаял в воздухе».

ЛИТЕРАТУРА:

Волков С., *На углях великого пожара*, Москва 1990.

Гончаров И., *Обломов*, в: *Полное собрание сочинений и писем*: В 20 т., Санкт-Петербург 1998.

Левинсон А., *Термин «бюрократия» в российских контекстах*, «Вопросы философии» 1994, № 7-8, с. 241-248.

Оболонский А., *Бюрократия и бюрократизм (К теории вопроса)*, «Государство и право» 1993, № 12, с. 88-98.

Салтыков-Щедрин М., *История одного города*, в: *Собрание сочинений*: В 10 т., Москва 1988.

Тургенев И., *История одного города. Издал М.Е. Салтыков. С. Петербург. 1870*, в: *Полное собрание сочинений и писем. Сочинения*, Москва 1982

Фукуяма Ф., *Конец истории?*, «Вопросы философии» 1990, № 3.

Фукуяма Ф., *Наше постчеловеческое будущее*, Москва 2005.

Эйхенбаум Б., *О прозе*, Ленинград 1969.

²⁰ Ф. Фукуяма, *Наше постчеловеческое будущее*, Москва 2005, с. 124.

²¹ *Ibidem*, с. 125.

²² Ф. Фукуяма, *Конец истории?*, «Вопросы философии» 1990, № 3, 134-148.